



**В. Я. БРЮСОВ**

**Испепелённый. К характеристике Гоголя**

Доклад, прочитанный на торжественном заседании  
Общества любителей российской словесности  
27 апреля 1909 г.

**ПРЕДИСЛОВИЕ К I ИЗДАНИЮ**

Чтение моего доклада на торжественном заседании Общества любителей российской словесности в Москве, 27 апреля, вызвала, как известно, резкий протест части слушателей. В те самые дни, когда целый ряд ораторов, в целом ряде речей, напоминал о том, как в своё время была освистана «Женитьба», — свистки не показались мне достаточно веским аргументом. На другой день газеты, отнёсшиеся ко мне (к моему удивлению) более снисходительно, чем большая публика, настаивали на том, что моя речь, хотя и была «оригинальной», была неуместной в дни юбилея. Не могу согласиться и с таким мнением. Полагаю, что истинное чествование великого поэта состоит именно в изучении его произведений и во всесторонней оценке его личности. Этому, по мере сил, я и способствовал в своём докладе и не видел надобности помнить прежде всего другого — завет Пушкина:

Тьмы низких истин мне дороже  
Нас возвышающий обман.

Впрочем, свою «истину» (насколько я прав в своей оценке Гоголя, судить, конечно, не мне) я ни в каком случае не могу признать «низкой». Утверждать, что Гоголь был фантаст, что, несмотря на все свои порывания к точному воспроизведению действительности, он всегда оставался мечтателем, что и в жизни он увлекался иллюзиями, — не значит унижать Гоголя. Опровергая школьное мнение, будто Гоголь был последовательный реалист, я не тень бросал на Гоголя, но только пытался осветить его образ с иной стороны.

Мысль, суждение, слово — должны быть свободны. Кажется, это довольно старое требование. От желания мешать говорить оратору свистом и стуком — недалёк шаг до оправдания всякого рода цензур. Пусть каждый оценивает писателя согласно с доводами своего рассудка: требовать, чтобы все в своих оценках следовали раз выработанному шаблону, — значит остановить всякое движение научной мысли. Разумеется, я не пошёл бы читать на юбилее Гоголя, если бы не ценил и не любил Гоголя как писателя. Тогда я выбрал бы другое время для того, чтобы высказать свои взгляды. Но не понимаю, почему я не должен был читать в дни юбилея, потому только, что смотрю на Гоголя несколько иначе, чем другие?

Бесспорно, моя речь не была сплошным панегириком, мне приходилось указывать и на слабые стороны Гоголя. Но разве возможна правдивая оценка человека и писателя, если закрывать глаза на его слабые стороны? Невольно вспоминаются бессмертные слова городничего: «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» Гоголь — великий писатель, но почему же благоговеть, хотя бы и на юбилее, перед каждой его строкой, перед каждым его шагом? Я, по крайней мере, не испытываю такой потребности «лежать то пред тем, то пред этим на брюхе»<sup>1</sup>. Думаю и убеждён, что и о великих писателях должно говорить языком свободным, а не рабым.

Мне остаётся добавить, что, согласно с самым характером речи, произносимой устно, я мог дать только эскиз, только общий очерк своего понимания Гоголя. Вместо обстоятельного доказательства своих положений я мог лишь иллюстрировать их отдельными примерами. Печатаю я свою речь безо всяких изменений, так, как я её произносил; восстановлено только несколько незначительных мест и второстепенных цитат, опущенных в чтении исключительно вследствие того, что заседание 27 апреля затянулось дольше, нежели то ожидалось.

Май 1909

## ИСПЕПЕЛЁННЫЙ

Дружески посвящаю  
Владимиру Владимировичу Каллашу

### I

Если бы мы пожелали определить основную черту души Гоголя, ту *faculte maitresse*<sup>2</sup>, которая господствует и в его творче-

стве, и в его жизни, — мы должны были бы назвать *стремление к преувеличению, к гиперболе*. После критических работ В. Розанова и Д. Мережковского<sup>3</sup> невозможно более смотреть на Гоголя, как на последовательного реалиста, в произведениях которого необыкновенно верно и точно отражена русская действительность его времени. Напротив того, Гоголь, хотя и порывался быть добросовестным бытописателем окружавшей его жизни, всегда, в своём творчестве, оставался мечтателем, фантастом и, в сущности, воплощал в своих произведениях только идеальный мир своих видений. Как фантастические повести Гоголя, так и его реалистические поэмы — равно создания мечтателя, уединённого в своём воображении, отделённого ото всего мира непреодолимой стеной своей грёзы.

К каким бы страницам Гоголя ни обратились мы — славословит ли он родную Украину, высмеивает ли пошлость современной жизни, хочет ли ужаснуть, испугать пересказом страшных народных преданий или очаровать образом красоты, пытается ли учить, наставлять, пророчествовать, — везде видим мы крайнюю напряжённость тона, преувеличения в образах, неправдоподобие изображаемых событий, иступлённую неумеренность требований. Для Гоголя нет ничего среднего, обыкновенного, — он знает только безмерное и бесконечное. Если он рисует картину природы, то не может не утверждать, что перед нами что-то исключительное, Божественное; если красавицу, — то непременно небывалую; если мужество, — то неслыханное, превосходящее все примеры; если чудовище, — то самое чудовищное из всех, рождавшихся в воображении человека; если ничтожество и пошлость, — то крайние, предельные, не имеющие себе подобных. Серенькая русская жизнь 30-х годов обратилась под пером Гоголя в такой апофеоз пошлости, равного которому не может представить миру ни одна эпоха всемирной истории.

У Эдгара По есть рассказ о том, как два матроса проникли в опустелый город, постигнутый чумой<sup>4</sup>. Там, войдя в один дом, увидели они чудовищное общество, пировавшее за столом. Особенность участников попойки состояла в том, что у каждого была до чрезмерности развита одна какая-нибудь часть лица. У одного был непомерной величины лоб, подымавшийся над головой как корона; у другого — невероятно огромный рот, шедший от уха до уха и открывавшийся как страшная пропасть; у третьего — несообразно длинный нос, толстый, дряблый, спадавший, как хобот,

ниже подбородка; у четвёртого — безобразно отвисшие щёки, лежавшие на его плечах, как бурдюки вина, — и т. д. Все герои Гоголя напоминают эти призраки, пригрезившиеся Эдгару По, — у всех у них чудовищно, несоразмерно развита одна часть души, одна черта психологии. Создания Гоголя — смелые и страшные карикатуры, которые, только подчиняясь гипнозу великого художника, мы в течение десятилетий принимали за отражение в зеркале русской действительности.

Вот перед нами уездный город, от которого «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Открывается занавес, и мы видим за столом у городничего обитателей этого города, его чиновников. Не ошиблись ли мы дверью, и не попали ли, вместе с двумя пьяными матросами, в ужасный зал в зачумлённом Лондоне Эдгара По? Не те же ли перед нами уродины, какие предстали глазам удивлённых и испуганных матросов? Разве городничий Сквозник-Дмухановский, судья Ляпкин-Тяпкин, попечитель над богоугодными заведениями Земляника и все другие, с детства хорошо знакомые нам лица, не страдают тою же болезнью, как фантастические герои Эдгара По? Разве у одного из них не чудовищный лоб, у другого — не невероятный рот, у третьего — не немислимые щёки?

Прислушаемся к их речам:

— Лекарств дорогих мы не употребляем, — говорит Земляника. — Человек простой: если умрёт, то и так умрёт; если выздоровеет, то и так выздоровеет.

Городничий жалуется, что от заседателя такой запах, словно он сейчас вышел из винокуренного завода.

— Это уж невозможно выгнать, — возражает судья, — он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдаёт немного водкою.

Появляется Хлестаков. «Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора?» — спрашивает позднее городничий. Точно, ничего похожего. Заезжий, остановившийся в гостинице, в номере «под лестницей», не платящий по счетам, выпрашивающий себе обед, — какой же это ревизор? В уездном городе жизнь каждого человека на виду; Хлестаков не мог за две недели, что он жил в городе, не примелькаться всем на улице; однако между ним и городничим происходит такой, приблизительно, диалог:

Х л е с т а к о в. Да что ж делать?.. Я не виноват... Я, право, заплачу... Мне пришлют из деревни.

Г о р о д н и ч и й. Извините, я, право, не виноват... Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.

Х л е с т а к о в. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?..

Г о р о д н и ч и й. Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие...

Затмение, нашедшее на городничего, — сверхъестественно, ни с чем не сообразно; ничего такого в жизни не могло бы быть.

Начинается сцена лганья Хлестакова:

— Просто, не говорите. На столе, например, арбуз, — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа... В ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе: тридцать пять тысяч одних курьеров!.. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш...

В какой бы степени опьянения ни был человек, вряд ли, не сойдя с ума, может он говорить такие нелепости. Это не типичское лганье, а какое-то сверхлганье, лганье безмерное, как и всё безмерно у Гоголя.

— Мне кажется, — говорит Хлестаков Землянике, — как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?

З е м л я н и к а. Очень может быть.

Анна Андреевна спрашивает Хлестакова:

— Вы, верно, и в журналы помещаете?

Х л е с т а к о в. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец». И тут же *в один вечер*, кажется, всё написал.

Хлестаков волочится за Анной Андреевной.

— Но позвольте заметить, — возражает она, — я в некотором роде... я замужем.

Х л е с т а к о в. Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй... Руки вашей, руки прошу.

«Тридцать пять тысяч курьеров», «Были вчера ниже ростом? — Очень может быть», «В один вечер всё написал», «Мы удалимся под сень струй», — это всё не подслушано в жизни, это — реплики, в действительности немыслимые, это — пародии

на действительность. Пошлости обыденного разговора сконцентрированы в диалоге гоголевских комедий, доведены до непомерных размеров, словно мы смотрим на них в сильно увеличивающее стекло.

Сцена меняется. Перед нами — другой город, тот, где есть магазин с вывеской: «Иностранец Василий Фёдоров». Проходит ряд новых лиц, но у всех у них та же гипертрофия какой-нибудь одной стороны души. Скупость Плюшкина, грубость Собакевича, умильность Манилова, тупость Коробочки, безудержность Ноздрёва, лень Тентетникова, обжорство Петуха, — это опять: непомерный нос, несообразный рот, невероятные щёки героев Эдгара По. И все эти помещики и помещицы, которых объезжает стяжатель Чичиков со своим странным предложением, весь этот мир маньяков говорит так, как не говорят в жизни, совершает поступки, каких никто не мог бы совершить.

Чичиков предлагает Коробочке продать ему мёртвых.

— Моё такое неопытное, вдовье дело, — возражает помещица. — Лучше ж я маленько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.

Чичиков торгуется с Плюшкиным.

— Почтеннейший, — сказал Чичиков, — не только по сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы! С удовольствием заплатил бы, потому что вижу — почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия.

— А ей-Богу так! Ей-Богу правда! — сказал Плюшкин, — всё от добродушия.

Разговаривают Чичиков и Манилов:

— Не правда ли, что губернатор предпочтеннейший и прелюбезнейший человек? — спрашивает Манилов.

— Совершенная правда, — почтеннейший человек, — отвечает Чичиков.

— А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек?

— Очень, очень достойный человек.

— Ну, позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?

— Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек!

— Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера? Не правда ли, прелюбезнейшая женщина?

— О, это одна из достойнейших женщин...

Все эти разговоры — шаржи: смешная сторона человеческих отношений в них преувеличена до крайности; нелепость в них доведена до какого-то культа.

Когда в городе узнают, что Чичиков скупал мёртвые души, чиновники начинают судить и рядить об нём, и толки их тотчас доходят до последних границ вероятного. Одни говорят, что Чичиков — делатель фальшивых ассигнаций. Другие — что он хотел увезти губернаторскую дочку. Третьи — что он капитан Копейкин. «А из числа многих, в своём роде, сметливых предположений было, наконец, одно, — странно даже и сказать, — что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон». Гоголь прибавляет, что «поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались». Прокурор же, «пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого, умер».

В другом городе, в том, где был магазин с вывеской: «Иностранец из Лондона и Парижа», появление гоголевского героя производит путаницу ещё более грандиозную. После того как Чичикова арестовали, защитник его, юрисконсульт, стал «производить чудеса на гражданском поприще»: «губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживающего чиновника уверил, что есть ещё секретнейший чиновник, который на него доносит... Донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видывало, и даже такие, которых и не было... Скандалы, соблазны и всё так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мёртвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха... Когда стали, наконец, поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошёл с ума... В одной части губернии оказался голод... В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мёртвым не даёт покоя, скупая какие-то мёртвые души. Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, уколошили неантихристов... В другом месте мужики взбунтовались»...

Неужели же эта удивительная революция, вызванная похождениями Чичикова, менее невероятна, чем то происшествие,

что нос майора Ковалёва, исчезнув с лица своего обладателя, стал разъезжать по Петербургу, одетый в мундир с золотом? Увлекаясь своим изображением общего хаоса, созданного ловким юрисконсультom, Гоголь чуть ли не готов позабыть, что всё это — преувеличение, чуть ли не готов сам поверить, что Чичиков — антихрист, и в уста князя, собравшего перед отъездом чиновников, влагает слова совершенно неожиданные: «Дело в том, что пришло время нам спасти нашу землю!» Реальное от фантастического не отделено ничем в созданиях Гоголя, и невозможное в них каждую минуту способно стать возможным.

И в какой бы город, в какую бы усадьбу ни заглянул Гоголь, везде видит он сбивающую с толку нелепость, везде встречает своих невероподобных героев. Мичман Жевакин, на вопрос Арины Пантелеймоновны, зачем одолжил посещение, отвечает: «В газетах вижу объявление о чём-то. Дай-ко, думаю себе, пойду. Погода же показалась хорошею, по дороге везде травка». Фёдор Иванович Шпонька, когда тётушка его сватает, возражает: «Как жена? Нет-с, тётушка, сделайте милость. Я ещё никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с нею делать». И совершенно в тон с этими, будто бы реалистическими репликами звучат нарочитые несообразности «Носа»: «Вы изволили затерять нос свой? — Так точно. — Он теперь найден. Его перехватили почти на дороге. Он уже сел в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника»... Как не поверить после этого словам Гоголя, который сам говорит: «Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, *он бы содрогнулся*».

Но не только в изображении пошлого и нелепого в жизни Гоголь переходит все пределы. Это ещё можно было бы объяснить сознательным приёмом сатирика, стремящегося выставить осмеиваемое им в особенно смешном, в намеренно преувеличенном виде. В совершенно такие же преувеличения впадает Гоголь и тогда, когда хочет рисовать ужасное и прекрасное. Он совершенно не умеет достигать впечатления соразмерностью частей: вся сила его творчества в одном-единственном приёме: в крайнем сгущении красок. Он изображает не то, что прекрасно по отношению к другому, но непременно абсолютную красоту; не то, что страшно при данных условиях, но то, что должно быть абсолютно страшно.

Вот бьются казаки под стенами Дубно:

«Демид Попович трёх заколол простых, и двух лучших шляхтичей сбил с коней. И выгнал коней далеко в поле, крича стоящим казакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, одного убил, другому накинул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю... Как стройный тополь, носился он (лях) на буланом коне своём. Двух запорожцев разрубил надвое; многим отнёс головы и руки и повалил казака Кубиту, вогнавши ему пулю в висок... Кукубенко, припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и стать ему в лицо, но не послушался конь. И достал его ружейною пулей Кукубенко. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля... Польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи... И не услышал Бородатый, как налетел на него сзади красноносый хорунжий. Не к добру повела корысть казака: отскочила могучая голова и упал обезглавленный труп, далеко вокруг оросивши землю. Понеслась к вышнякам суровая казацкая душа, хмурясь и негодуя».

В какую эпоху совершаются эти героические деяния? — В Малороссии XVI века или в мифические времена похода под Троию? Кто это рубит врагов надвое, один одолевает пятерых, в ужас приводит всех нечеловеческим криком? — запорожцы или герои Гомера, богоподобный Диомед, сын богини Ахилл, пастырь народов Агамемнон?<sup>5</sup>

Но что такое вся эпопея о Тарасе Бульбе, как не ряд гиперболических образов, где и картины Украины, и удаль казаков, и первобытность их жизни — всё изображено в преувеличенном, крайне изукрашенном виде? Идёт бой и «летят головы», «снопами валяются ляхи», сияет «сабельный блеск». Андрий целует «благовонные уста», «полный не на земле вкушаемых чувств». Полячка чувствует, что речами своими Андрий «разодрал на части её сердце». «Ни крика, ни стопа» не слышно из уст Остапа при страшной казни, «даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их слышался среди мёртвой толпы». Бестрепетно стоит на костре Тарас, — и поэт восклицает: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» — И тому подобно, и тому подобно! История Украины только подала повод Гоголю рисовать картины какой-то героической эпохи, мечтавшейся ему<sup>6</sup>.

Впрочем, и другие герои Гоголя всё чувствуют, всё переживают гиперболически. Иван, в «Страшной мести», ужасает самого Бога своей ненавистью. «Страшна казнь, тобою выдуманная, человеке», — говорит ему Бог. Мёртвым от страха падает на землю Хома Брут в «Вие». Безмерной завистью охвачен герой «Портрета». «Размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил жизни» — говорит об нём Гоголь. На героя «Невского проспекта» бросила взгляд встречная красавица, и вот — «дыхание занялось у него в груди, всё в нём обратилось в неопределённый трепет, все чувства его горели; тротуар нёсся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз»... И даже Костанжогло, изъясняя Чичикову за ужином счастье быть помещиком, «сияет весь, как царь, в день торжественного венчания своего», причём кажется, что «как бы лучи исходят из его лица».

Сама природа, у Гоголя, дивно преобразается, и его родная Украина становится какой-то неведомой, роскошной страной, где всё превосходит обычные размеры. Все мы заучили в школе наизусть отрывок о том, как «чуден Днепр при тихой погоде»... Но что же есть верного и точного в этом описании? похоже ли оно сколько-нибудь на реальный Днепр? «И чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьётся по зелёному миру... Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! Ему нет равной реки в мире... Чёрный лес, униженный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его, хотя длинною тенью своею, — напрасно! Нет ничего в мире, чтобы могло прикрыть Днепр». Какой же это Днепр? Это фантастическая река фантастической земли! Под стать ей стоят «подоблачные дубы», под стать ей летит пламя пожара «вверх под самые звёзды» и гаснет «под самыми дальними небесами», под стать ей «неизмеримыми волнами» тянутся степи, о которых Гоголь восклицает: «Ничего в природе не могло быть лучше».

В той же фантастической стране своей мечты подсмотрел Гоголь и ту ночь, которую назвал украинской ночью: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неё: с середины неба глядит месяц; необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятней; горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух и прохладно

душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Недвижно, вдохновенно стали леса... Девственные чащи черёмух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод... А вверху всё дышит, всё дивно, всё торжественно. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посреди неба»... Какие напряжённые слова, какая театрально пышная картина! Соответствует ли она милой, но простой и скромной природе Малороссии?<sup>7</sup>

Но всего ярче, быть может, сказалась склонность Гоголя к гиперболе в попытках рисовать женскую красоту. Героиня юношеского отрывка «Женщина» была так прекрасна, что «казалось, тонкий, светлый эфир, в котором купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь в бесчисленных лучах, коим и имени нет на земле, облёкся в видимость; никогда сама Царица любви не была так прекрасна!». У красавицы «Невского проспекта» — «уста были замкнуты целым роем прелестнейших грёз; всё, что остаётся от воспоминаний о детстве, что даёт мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, — всё это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в её гармонических устах. Боже, какие Божественные черты!». Полячка в «Тарасе Бульбе» обладала «ослепительной красотой»; позднее лишения осады не могли «помрачить чудесной красоты её», но лишь придали ей что-то «неотразимо-победоносное». У дочери сотника в «Вие» чело было «как снег, как серебро», «брови — ночь среди солнечного дня», «уста — рубины». У дочери генерала Бетрищева было такое чистое, благородное очертание лица, которого «нельзя было отыскать нигде, кроме разве только на одних древних камейках» — и т. д.

Особенно безудержно было перо Гоголя, когда он рисовал свою Аннунциату: «Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши чёрные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потоком блеска: таковы очи у албанки Аннунциаты... Как ни поворотит она сияющий снег своего лица — образ её весь отпечатлелся в сердце... Обратится ли затылком с подобранными кверху чудесными волосами, показав сверкающую шею и красоту не виданных землёю плеч, — и там она чудо. Но чудеснее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замирение в сердце... Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. Всё в ней венец создания, ох плеч до античной, дышащей ноги и до последнего пальчика на

её ноге»... Что это? описание живого человека, или безудержный полёт в мире небывалого и невозможного!

В «Мёртвых душах» Гоголь советует «дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что нет писателя, который бы не ездил на нём». Как же не подумал Гоголь, что пора было дать отдых и всем красавицам, обладательницам прелестей, «не виданных землёю»?

Мы знаем, что Гоголь много работал над собиранием материалов для своих повестей. До нас дошли записные книжки Гоголя, куда он вносил свои наблюдения, меткие слова, поразившие его обороты и т. п. До нас дошли сборники малороссийских песен, составленные Гоголем. В своих письмах к родным Гоголь постоянно просил их доставлять ему всевозможные «известия о малороссиянах», собирать данные про «старовину». Но все эти тщательно собранные материалы совершенно преобразались под его пером, образы действительности разрастались одной какой-нибудь стороной, то чтобы стать чем-то «ослепительно прекрасным», то чтобы явить «излишество и множество низкого». Действительность изменялась в созданиях Гоголя, как изменился колдун «Страшной мести», приступив к волхвованию, — «нос вытянулся и повиснул над губами, рот в минуту раздался до ушей, зуб выглянул изо рта», — или как изменилась ведьма от заклятий Хомы Брута, — вместо старухи «пред ним лежала красавица, с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами».

Гоголь сам оставил нам намёк, что именно в таком направлении он всегда и вёл свою работу. Так, в программе ненаписанной драмы из украинской старины он говорит: «Да исполнится она вся (драма) *нестерпимого* блеска... (Облечь её) в поток речей неугасаемой страсти, и в самоотвержение *неслыханное*, дикое, *нечеловечески-великолепное*». Точно так же в заметках к «Мёртвым душам» он говорит: «Идея города — возникшая до высшей степени пустота. Как всё... приняло выражение смешного в высшей степени... Как эти соображения доходят до верха смешного». Да, Гоголь основывался на наблюдениях, на изучении, но всё доводил до «высшей степени», до «верха смешного», обращал в «неслыханное» и «нечеловеческое».

У Гоголя был ещё другой способ пользоваться собранными материалами: он без меры нагромождал свои наблюдения в одном месте, как бы оглушая читателя номенклатурой. Так, опи-

сывая рабочий двор Плюшкина, он вспоминает «дерево шитое, точёное, лаженое, и плетёное; бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкальники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетёной берестки и много всего, что идёт на потребу богатой и бедной Руси». Подобно этому при посещении собачника Ноздрёва Гоголь упоминает «всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, чёрных с подпалинами, полво-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих».

«Гоголь все явления и предметы рассматривал не в их действительности, но в их пределе», — так формулирует то, что мы здесь утверждаем, В. Розанов<sup>8</sup>. Конечно, Россия времён Гоголя не была населена теми манаками, теми чудовищами и теми ангелами красоты, которые выступают перед нами из его повестей. Тогда жили такие же люди, как теперь, в которых смешное соединялось с благородным, красота с безобразием, героизм с ничтожеством. Их умел видеть Пушкин, изобразивший их в «Евгении Онегине», в «Повестях Белкина», в «Медном Всаднике», но Гоголь их не видел. Он сотворил свой особенный мир и своих особенных людей, развивая до последнего предела то, что в действительности находил лишь в намёке. И такова была сила его дарования, сила его творчества, что он не только дал жизнь этим вымыслам, но сделал их как бы реальнее самой реальности, заставил ближайшие поколения забыть действительность, но помнить им созданную мечту. В течение многих лет на николаевскую Россию и на Украину мы все смотрели сквозь гоголевское стекло.

## II

Стремление к крайностям, к преувеличениям, к гиперболе сказалось не только в творчестве Гоголя, не только в его произведениях: тем же стремлением была проникнута вся его жизнь. Всё совершающееся вокруг он воспринимал в преувеличенном виде, призраки своего пламенного воображения легко принимал за действительность и всю свою жизнь прожил в мире сменяющихся иллюзий. Гоголь не только «все явления и предметы рассматривал *в их пределе*», но и все чувства переживал также «*в их пределе*».

«У меня всё расстроено внутри, — признавался как-то раз сам Гоголь. — Я, например, увижу, что кто-нибудь споткнулся, тотчас же воображение моё за это ухватится, начнёт развиваться и всё в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы». Многие в жизни Гоголя объясняются этой его склонностью «всё развиваться и в самых страшных призраках».

Письма Гоголя, как юношеские, так и зрелых лет, представляют разительные примеры того, как легко увлекалась его душа то в сторону крайнего отчаяния, то беспредельного восторга, то гордости, то самоуничижения. Юношей он пишет матери: «С самых времён прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимой ревностью сделать жизнь свою нужной для блага государства... Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утратить, не сделав блага». Тот же напряжённый восторженный тон повторяется десять лет спустя, в письме к Жуковскому: «Никакое развлечение, никакая страсть не в состоянии была на минуту овладеть моею душою и отвлечь меня от моей обязанности». Раскаиваясь в своём побеге за границу 1829 г., он пишет матери из Любека: «Это ужасно! Это раздирает моё сердце. Простите, милая, великодушная маменька, простите своему несчастному сыну, который одного только желал бы ныне — повергнуться в объятия ваши и излить пред вами изрытую и опустошённую бурями душу свою». В одном юношеском письме Гоголь сам говорит о себе, как о «страшной смеси дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения».

Решительно о всех впечатлениях жизни Гоголь говорит в своих письмах тоном напряжённым, в выражениях гиперболических. Достаточно напомнить, какой поистине *безмерный* восторг проявлял он, приехав, в 1837 году, в первый раз в Италию. «Что за земля Италия! — писал он. — Всё прекрасно под этим небом. Нет лучшей участи, как умереть в Риме». И в другом письме: «Когда я увидел во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я... Но нет, это всё не то: не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила ещё прежде меня, прежде чем я родился на свет». И ещё в одном: «Кто был в Италии, тот скажи прощай другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю. Уже душа не в силах будет наслаждаться прекрасным видом какого-нибудь места, — она будет

помнить лучшее». Вероятно, Гоголь в те минуты, когда писал, так именно и чувствовал. «Мысли мои состоят из вихря», — признался он однажды. Но всё же вспоминается невольно, что чуть ли не те же самые выражения попадали под перо Гоголя, когда он несколько лет тому назад прославлял свою Украину, уверяя, что «ничего в природе» не может быть лучше степей.

В Риме, в 1837 г., Гоголь получил известие о смерти Пушкина. Как не знал Гоголь меры в своём восторге пред Италией, так доводит он до предела и выражения своей скорби. Он писал тогда Плетнёву: «Никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждения моей жизни, всё моё высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего я не предпринимал без его (Пушкина) совета... Тайный трепет не вкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу. Боже! Нынешний труд мой, внушённый им, его создание! я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо — и перо падало из рук моих... Почти то же повторял он и Погодину: «Моя утрата больше всех... Моя жизнь, моё высшее наслаждение умерло вместе с ним... Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Всё, что есть у меня хорошего, всем этим обязан я ему... Что теперь жизнь моя!»

Самая приподнятость тона этих жалоб заставляет видеть в них скорее минутную экзальтацию, чем выражение стойкого чувства. К тому же, этот тон отчаянья не выдержан до конца даже в самых письмах. Письмо к Плетнёву продолжается так: «Пришлите мне деньги, которые должен внести мне Смирдин к первым числам апреля. Вручите их таким же порядком Штиглицу, дабы он отправил их к одному из банкиров в Рим для передачи мне. Лучше, если он переведёт их на Валентина» и т. д. Приписка эта столь неожиданна, так противоречит по тону началу письма, что первый издатель писем Гоголя не решился её напечатать и поместил в своём издании лишь строки о Пушкине. Письмо к Погодину кончается так: «Приезжай в Рим. Здесь моё всегдашнее пребывание. Небо чудное. Пью его воздух и забываю весь мир». — «Забываю весь мир», подходит ли такое заключение к словам: «всё моё наслаждение умерло вместе с Пушкиным» и к восклицанию: «что теперь вся жизнь моя!»

Но этого мало. У нас есть все данные, чтобы предполагать, что Гоголю, когда он писал свои письма о смерти Пушкина, многое, — в порыве минутной скорби, — представлялось не совсем так, как оно было в действительности. До нас дошли письма Гого-

ля к Пушкину и Пушкина к Гоголю, и мы знаем, что настоящей дружбы, интимной близости между ними не было. Три небольших письма Пушкина крайне сдержанны, хотя приветливы, любезны. Письма Гоголя, тщательно обработанные, местами старающиеся насмешить, почти все наполнены деловыми просьбами. На место этих реальных, простых отношений Гоголь создал в своих письмах (и в своих мечтах) иные, в которых Пушкин являлся его другом, его покровителем, его учителем. Не только Гоголю кажется, что «всё наслаждение его жизни исчезло» со смертью Пушкина, но Гоголь уже верит, что «ничего не предпринимал, ничего не писал» без совета Пушкина и что «Мёртвые души» не только труд, «им внушённый», но прямо — его, Пушкина, «создание». Между тем у нас есть свидетельство П. Анненкова, что Пушкин уступил сюжет «Мёртвых душ» Гоголю *не совсем охотно* и в кругу своих домашних говорил: «С этим малороссом надо быть осторожнее, он обирает меня так, что и кричать нельзя». То же подтверждает и Л. Павлищев.

«О Пушкин! Пушкин! какой прекрасный сон мне снился в жизни!» — восклицал позднее Гоголь. Действительно, тот Пушкин, о котором говорит Гоголь в своих письмах, был сном, грёзой, видением.

Впрочем, не один Пушкин, но и многое другое в жизни было для Гоголя «прекрасным сном». Как известно, в 1834 г. Гоголь выхлопотал себе, при содействии Жуковского, кафедру Средней истории в Петербургском университете. Увлекаясь народными малороссийскими песнями, прочтя несколько старых летописей и несколько книг по истории, поговорив с Погодиным, — Гоголь, незаметно для самого себя, пришёл к уверенности, что он — историк. Он уже был убеждён, что, если только министр Уваров прочтает его план (преподавания), он «отличит его от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты». Погодину он писал: «Мне кажется, что сделаю кое-что не общее во всеобщей истории». Мало того: воображение Гоголя увлекло его тотчас к самым грандиозным планам, и он мечтал не просто о работе историка, но о создании «истории Малороссии» в 6 томах, «средней истории» в 9 томах и ещё «всеобщей истории». Ещё в 1833 г. Гоголь писал Пушкину: «Как закипят труды мои в Киеве... Там кончу я историю Украины и юга России и напишу всеобщую историю, которой, в настоящем виде её, до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе нет». Между тем в то вре-

мя, из истории Украины, которую Гоголь собирался «кончить», вряд ли существовала хоть одна строка. Несколько позже он общал: «Историю Малороссии я пишу всю, от начала до конца. Она будет в шести малых или в четырёх больших томах». Затем: «Я пишу историю средних веков, которая будет состоять томов из 8-ми, если не из 9-ти». В одном письме к Погодину Гоголь кстати уж обещал написать и «всеобщую географию» в 3 томах. Как известно, ни одно из этих сочинений не было написано Гоголем, а то, что мы об нём знаем, как о преподавателе истории в университете, сохранившиеся его исторические статьи и историческая сторона «Тараса Бульбы» (исполненная промахов всякого рода) заставляют нас сомневаться, чтобы он способен был написать эти книги, казавшиеся ему самому почти осуществлёнными.

Гоголь постоянно нуждался в деньгах, так как писал очень мало, и других средств, кроме литературного заработка, у него не было. Но и в эту область, в область денежных отношений, вносил он всю свою мечтательность. В одном письме он так утешал художника Иванова, жаловавшегося на тяжёлое материальное положение: «Деньги, как тень или красавица, бегут за нами только тогда, когда мы бежим от них... Кто слишком занят трудом своим, того не может смутить мысль о деньгах, хотя бы даже и на завтрашний день их у него не доставало. Он займет без церемонии у первого попавшегося приятеля». Получив через Жуковского денежное пособие, он писал Шевырёву: «Теперь мне смешно, когда подумаю, о чём хлопотал. Хорошо, что Бог был милостив и всякий раз меня наказывал: в то время, когда я думал о своём обеспечении, никогда у меня не было денег; когда же не думал, тогда они всегда ко мне приходили». При таком взгляде на вещи Гоголь, действительно, «без церемонии» принимал помощь и своих друзей, и государя, и наследника. По-видимому, Гоголь видел в этом проявление неких мистических сил, заботящихся об нём<sup>9</sup>.

В то же самое время Гоголь строил фантастические планы широкой помощи бедным студентам из денег, получаемых от продажи его сочинений. Одно такое пожертвование он затеял в 1844 г., поручив распределение денег в Петербурге Плетнёву, в Москве — Шевырёву, но из фантастического проекта ничего не вышло. И когда позднее, по поводу хлопот о пособии самому Гоголю, Плетнёва спросили: «какое же Гоголю нужно вспоможение, когда он беспрестанно назначает жертвования в пользу студен-

тов», — Плетнёв отвечал: «Гоголя пожертвование есть фантазия. Денег в сборе никаких нет». Второй, ещё более фантастический, тоже не осуществившийся проект был задуман Гоголем в 1846 г., когда он собирался выпустить новое издание «Ревизора» для бедных, требовал, чтобы Щепкин со сцены предлагал покупать эту книгу, хотел организовать целый комитет, под председательством гр. А. М. Вьельгорской, и т. д.

Но не только одними светлыми иллюзиями тешил себя Гоголь; он знавал и не мало чёрных призраков. Так, всю жизнь Гоголь почитал себя больным и чуть только не при смерти. При всей слабости организма Гоголя, эта его постоянная болезнь всё же была, по-видимому, одной из его бесчисленных иллюзий. 29 лет от роду Гоголь уже говорил: «скудельный состав мой часто одолевает недугом и крайне дряхлеет». В письмах к матери и друзьям он постоянно жалуется на своё здоровье, а его воображение, «развивая всё в самых страшных призраках», уже подсказывает ему мысль о близкой смерти. «Я дорожу теперь минутами моей жизни, — пишет он в 1837 г., — потому что не думаю, чтобы она была долговечна». «О, друг! — восклицает он в письме к Погодину, 1838 г., — если бы мне на четыре, пять лет ещё здоровья! И неужели не суждено осуществиться тому... Много думал я совершить»... О свойствах своей болезни Гоголь давал показания самые разнообразные. С. Т. Аксакова Гоголь, ещё в молодости, изумил жалобами на свои недуги, так как по виду казался совершенно здоровым. На вопрос, чем он болен, Гоголь ответил, что причина его болезни находится в кишках. Это не мешало Гоголю любить хорошо поесть. «Гоголь ужасно мнителен, — писал один из его друзей из Рима в 1840 г. — Он ничем не был так занят, как своим желудком, а между тем никто из нас не мог съесть столько макарон, сколько он их отпускал иной раз». Когда о его болезни стал его расспрашивать Языков, Гоголь объяснил, что она происходит от особенного устройства его головы и от того, что его желудок поставлен вверх ногами.

Чрезвычайно характерна манера работы Гоголя над его произведениями. Мы знаем медленный и упорный труд Пушкина, его исчерканные, покрытые бесчисленными поправками рукописи. Но с этим и сравнить нельзя тот невероятный подвиг, какой совершал Гоголь, прежде чем признавал своё создание более или менее завершённым. Гоголь никак не мог остановиться в своей работе; его всё преувеличивающей душе постоянно казалось, что

новое его создание исполнено недостатков, и он стремился всё дальше и дальше совершенствовать его. Даже после напечатания того или другого произведения он вновь к нему возвращался и переделывал иногда почти заново. Нам известны две печатные редакции «Тараса Бульбы» и две — «Портрета». «Ревизор» был закончен еще в 1834 г., но затем совершенно переделан и в этой новой обработке поставлен на сцену в 1836 г. Однако в 1841 г. Гоголь изменил ряд сцен для второго издания комедии, а в 1842 г. переделал её еще раз для третьего издания. Над первым томом «Мертвых душ» Гоголь работал, усидчиво и постоянно, шесть лет; над вторым — почти десять, так и не признав его оконченным...

С. Т. Аксаков рассказывает, что Гоголь прочёл однажды в его семье вторую редакцию первой главы «Мёртвых душ»; все были поражены, как сумел художник усовершенствовать своё создание, а Гоголь с довольством сказал: «Вот что значит, когда живописец дал последний туш своей картине. Поправки, по-видимому, самые ничтожные: там одно словцо убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено, и всё выходит другое». Так именно и работал Гоголь, заботясь о каждом слове, о каждой мелочи, стремясь к предельному совершенству. По словам того же С. Т. Аксакова, такая творческая работа Гоголя понемногу сделалась для него «мученичеством», перешедшим впоследствии в «бесполезную пытку». И сам Гоголь признавался, что свой труд писателя он совершал «с болезненными напряжениями», что ему «каждая строка досталась потрясением». В конце концов такое безмерное усердие в работе сделало невозможной самую работу. Последние годы Гоголь только бесплодно просиживал часы перед письменным столом. «Встаю рано, — писал он сам, — с утра принимаюсь за перо, никого к себе не впускаю, и при всём том немного из меня выходит строк... Жду, как манны, орошающего освежения свыше. И всё кажется обдуманно и готово, но — перо не подымается»...

В оценке своих произведений Гоголь проявлял ту же неумеренность, то же увлечение крайностями, как и во всём другом. Порою он готов был отрицать за ними всякое значение, доходить в отзывах о себе до крайнего самоуничтожения. В 1836 г., в письме к Жуковскому, он отрекается ото всех своих созданий. «Что такое всё написанное мною до сих пор? — спрашивает он. — Мне кажется, как будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика,

в которой на одной странице видно нерадение и лень, на другой нетерпение и поспешность, робкая дрожащая рука и смелая замашка шалуна, вместо букв выводящая крючки, за которые бьют по рукам»... В 1838 г. он утверждает, что ему «страшно вспомнить обо всех своих мараньях». «Забвенья, долгого забвенья просит душа! — восклицает он. — И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ними «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, и обо мне, в течение долгого времени ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова, — я бы благодарил судьбу». «Ничего я не сделал! Как беден мой талант!» — говорит он в другом месте. Издавая «Выбранные места из переписки», он говорит, что ему «хотелось искупить бесполезность всего, доселе им напечатанного», и прежние свои сочинения называет «необдуманнными и незрелыми».

И рядом с этим Гоголь часто переходит к гордости тоже беспредельной, к самоуверенности безмерной. «Я чувствовал всегда, — признаётся он, — что буду участник сильный в деле общего добра и что без меня не обойдётся». «Мне ли не благодарить Пославшего меня на землю! — говорит он в одном из тех же писем, где отрекается от своего прошлого. — Каких высоких, каких торжественных ощущений, невидимых, незаметных для света, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей» и т. д. В начале 1834 г. он задаёт себе, в одном письме, такой вопрос:

«Таинственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя великими трудами?» Жуковскому он пишет: «Огромно велико моё творение»; Данилевскому: «Труд мой велик, мой подвиг спасителен». И в конце 1-ой части «Мёртвых душ» он смело ставит слова, в своё время так прогневившие критику, о дальнейших частях поэмы, о том, что придёт время, «когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подыметя из облечённой в священный ужас и блистанье главы, и почуют, в смущённом трепете, величавый гром других речей».

На свою литературную работу Гоголь не умел смотреть ясными глазами Пушкина, который свою музу называл «вакханочкой», который добродушно признавался:

Ведь рифмы запросто со мной живут:  
две придут сами, третью приведут...

Для Гоголя его писательство всегда было исполнением «воли Божией», «подвигом» и притом «великим подвигом». «Кто-то незримый пишет передо мною могущественным пером», — говорит он в одном письме, в 1835 г. «Чувствую, что не земная воля направляет путь мой», — говорит он в 1836 г. Ещё определённое выражается он в письме к Данилевскому, в 1841 г.: «Создание чудное творится и совершается в душе моей и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь ясно видна мне святая воля Бога; подобное внушение не происходит от человека; ни когда не выдумать ему такого сюжета». Впрочем, Гоголь вообще был уверен, что находится под особым покровительством Промысла. В юношеских письмах он не раз повторяет, что «Бог имеет об нём особенное Своё попечение». Позднее, в письмах, Гоголь не раз высказывает глубокую веру, что провидение не только руководит его творчеством, но направляет каждый его шаг в жизни, помогая даже при выборе квартиры.

Эта уверенность, что он находится под «особым» попечением Бога, доводила Гоголя до потери чувства действительности. Резче, чем когда-либо, сказалось это при издании «Выбранных мест из переписки с друзьями». Прежде всего Гоголь был убеждён, что написать книгу помогло ему особое чудо Божие. «Вдруг остановились самые тяжёлые недуги, пишет он, вдруг отклонились все помешательства в работе, и продолжалось всё это до тех пор, покуда не кончилась последняя строка». Посылая рукопись Плетнёву, Гоголь приглашал его бросить все свои дела и заняться печатанием его книги. «Она нужна, она слишком нужна всем», писал он. И в другом письме: «Это нужно, нужно и для меня, и для других, словом — нужно для общего добра». Гоголь уверен был в могущественном влиянии книги на читателей. Он писал Плетнёву, что как только она выйдет, все его, наконец, поймут, «всем буду и мне все будут родные». Уверен был Гоголь и в быстрой распродаже книги (что не оправдалось) и, ещё до выхода первого издания, уже поручал Плетнёву заготовить бумагу для второго. Увы! то, что она была «нужна всем», было также одной из бесчисленных иллюзий Гоголя!

В жизни Гоголя не было страсти к женщине; в его биографии нет обычных романов любви. Но это не от недостатка страстности, — скорее от избытка её. И в страсти, как во всех переживаниях, Гоголь мог бы только идти до предела. Когда юношей, в письме к матери (может быть, намекая на истинное происшествие,

может быть, рассказывая о вымышленном событии), он пишет о своей влюблённости, он выбирает слова самые испуганные: «Адская тоска с всевозможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние!.. В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я... Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвести таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество!» В другом письме, обращённом к одному из своих товарищей, влюблённому в то время, Гоголь писал: «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю благодаря, что это пламя меня превратило бы в прах в одно мгновение. К спасению моему, твёрдая воля отводила меня от желания заглянуть в пропасть».

Всё, что мы знаем о Гоголе, позволяет нам думать, что не только на пути женской любви стоял перед ним соблазн «заглянуть в пропасть». Каждое чувство в нём грозило разгореться в такое пламя, которое способно в одно мгновение обратить в прах. Разве не губительным огнём разгоралась в нём, год за годом, его любовь к родине, к России? Юношей эта любовь разрешалась просто мечтами о «службе государственной», о «поднятии труда важного, благородного, на пользу отечества», мечтами, от которых он «вспыхивал огнём гордого самосознания». Но во что разгорелся этот «огонь гордого самосознания» в заключительных строках «Мёртвых душ»! — «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Остановился, поражённый Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение?.. Летит мимо всё, что ни есть на земле, и косясь посторониваются и дают ей дорогу другие народы». А в «Переписке с друзьями», уже как выношенную истину, утверждает Гоголь, что нет ничего подобного России, что она — государство единственное, особое, избранное. «Зачем ни Франция, ни Англия, ни Германия не пророчествуют о себе, — восклицает он, — а пророчествует только одна Россия? Затем, что она сильнее других слышит Божию руку на всём, что ни сбывается с ней, и чуёт приближение иного царствия».

Подобно этому, с детства пылавший в душе Гоголя огонь религиозного восторга, к последним годам его жизни разгорелся в смертный костёр. В предисловии к «Выбранным местам»

Гоголь указывает на тяжёлую болезнь, заставившую его живее обратиться к Богу, но такое объяснение и не нужно. В мистической экзальтации Гоголь только шёл до конца по тому пути, на котором стоял с ранних лет, как до конца шёл он и по всем другим путям своей жизни. В аскетизм устремлялся он с той же неудержимостью, какую вносил в описание широты Днепра или очей альбанки Аннунциаты. В религию заглянул он, как в одну из пропастей, разверзнутых перед ним, и кинулся в эту пропасть, как в ту бесконечность, в ту беспредельность, которой всегда жаждала душа его. «Соотечественники, страшно!» — возгласил он, сам сознавая, что падает, наконец, в разверстую бездну. Но ни доводы друзей, ни очевидность последней гибели не могли остановить его. И вот Гоголь издаёт «Выбранные места из переписки», пишет «Авторскую исповедь», едет в святую землю, в страшную ночь сжигает 2-ую часть «Мёртвых душ», в ещё более страшный день даёт отцу Матвею обещание не писать более, отречься от литературы...

Если вся жизнь Гоголя была мечтой, если всё в его творчестве было преувеличением, — то какое фантастическое видение, какая величественная гипербола его последние дни! До последних пределов стремился Гоголь исполнить заповеди Христа, как в то время понимал их; до последних пределов стремился довести своё смирение, своё покаяние, своё усердие в посте и молитве. «Совершенного небесного бесстрастия требует от нас Бог», — написал однажды Гоголь Смирновой, и сам не отрёкся от такого требования. Рассказы лиц, наблюдавших его в последние недели его жизни, производят впечатление потрясающее.

«На масляной неделе, — рассказывает Аксаков, — начал он говеть и поститься: стал есть всё меньше и меньше, хотя, по-видимому, не терял аппетита и жестоко страдал от лишения пищи... Несколько дней питался одною просфорю. Свое пощение не ограничивал пищею, но и сон умерил до чрезмерности; после ночной продолжительной молитвы рано вставал и шёл к заутрене. Наконец, он так ослаб, что едва держался на ногах. Однажды целый день не хотел есть, когда же после съел просфору, то назвал себя обжорою, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно». «В понедельник и вторник великого поста, — рассказывает д-р Тарасенков, — наверху у графа (А. П. Толстого, у которого жил Гоголь) была всеобщая. Гоголь едва мог дойти туда, останавливаясь на ступенях, присаживаясь на стуле, однако сто-

ял всю всюнощную и молился. День оставался почти без пищи, ночи проводил он перед образами».

Силы Гоголя стали падать быстро и невозвратно после такого поста; он явно умирал, но и это не могло одолеть его решимости. Напрасно друзья и духовники, которых побуждал к тому митрополит Филарет, убеждали его принимать пищу и лекарства. Гоголь не умел и не мог слушаться чужих советов, так как всю жизнь привык руководиться властными влечениями своей души, своей мысли. Наконец, он слёг, но и здесь на все угрозы врачей, на их попытки освидетельствовать его отвечал кратко и твёрдо: «оставьте меня». Он шёл до конца по тому пути, на который вступил.

Известно, что врачи порешили обращаться с Гоголем, как с человеком, не владеющим собою, пытались лечить его насильно, обратили его последние часы в пытку. Но Гоголь не только в те дни и часы не владел собою. В такой же мере он не владел собою, когда создавал свои призрачные образы, населяя Россию видениями своей фантазии, когда своё дело писателя обращал в подвиг, а работу над слогом — в «мученичество», когда ставил перед собою и перед другими беспощадные требования и суровые Идеалы в своих письмах, в своей «Переписке». В последние дни жизни Гоголя только явственнее означилась удивительная гармония, существовавшая между его жизнью и его поэзией. В жизни, как в творчестве, он не знал меры, не знал предела, — в этом и было его своеобразие, вся его сила и вся его слабость. Все создания Гоголя — это мир его грёзы, где всё разрасталось до размеров невероятных, где всё являлось в преувеличенном виде или чудовищно ужасного, или ослепительно прекрасного. Вся жизнь Гоголя — это путь между пропастями, которые влекли его к себе; это борьба «твёрдой воли» и сознания высокого долга, выпавшего ему на долю, с пламенем, таившимся в душе и грозившим в одно мгновение обратить его в прах. И когда, наконец, этой внутренней силе, жившей в нём, Гоголь дал свободу, позволил ей развиваться по воле, — она, действительно, испепелила его.

